

НА ВОЛНАХ ПАМЯТИ

Л.М. КРОЛЬ

Ниже представлены фрагменты из книги Л.М.Кроля «Острова психотерапии», готовящейся к печати. Автор делится впечатлениями от встреч с выдающимися психотерапевтами мира, представляющими все многообразие современной психотерапии, из которого, несмотря на его противоречивость, складывается великое богатство психотерапевтического опыта. Книга выйдет в свет осенью текущего года в издательстве Независимая фирма «Класс».

Морено — открыватель новой земли

Морено особенно ценил так называемое «теле». До сих пор оно мне кажется наиболее загадочным из его понятий и методов. Это что-то внезапно появляющееся: вспышка понимания, симпатии, связи. Именно — внезапная вспышка, искра, концентрированное озарение, где, как в первичной сцене, разворачиваются варианты возможного.

Это из разряда вещей, которые либо есть - либо нет. Приблизительно это описывается как: «Я здесь — я тоже здесь», «добавка жизненности к жизни», «особое касание», «связь обыденного мира и рядом находящегося», «освобождение от лишнего мирского и привычного». «Теле» может быть принесено человеком, помнящим о нем внутренне, и затем разделено с другим или «разлито» в группе.

Самого Морено одни люди начинали любить и принимать сразу, а другие — столь же скоро и явно отвергать. Это четкой линией проходит через всю его биографию. Дети в парках Вены или проститутки в его первых группах, психиатры в Америке или те, кто приходил к нему учиться, непременно поляризовались этим его свойством.

Он имел особенность мгновенно «влезать в шкуру», дублировать других и предлагал им сделать тоже. Причем это невольное соревнование в сопричастности, близости, даре мгновенного понимания он завсегда всегда выигрывал, но оставлял возможность самой игры, вплоть до материализации ее правил и превращения в инструмент.

Это было похоже на укрошенную маниакальность. Мгновенно вырастающая фигура, становящаяся отцом, «генеральным свидетелем», возможно, феей или Богом, и вдруг открывающийся горизонт возможного с подарками, пусть пока и виртуальными, но доступными, переносимыми через границу воображения. Фигура могла опекать, подбадривать, брать с собой в игру, выводить из нерешительности, ограниченности «объективного» мира. Избавлять от кажущихся обязательными связей и долгов. Эта «прививка» возможности, достижимости, вариативности увлекала и позволяла отправиться в то самое путешествие, как в неожиданно поданной карете для Золушки.

Имелись и дополнительные условия (как и в правилах сказок), требовавшие сохранения и умножения предоставленных возможностей; следовало «не улетать слишком далеко», видеть малых мира сего и мелкие детали, быть в контакте с реальностью «под ногами», перебирать крупу и чистить кастрюли. Промежуточными техниками было напевание песенок и возможность жить в своем «личном замке» за печкой.

Морено прожил свою жизнь успешно, многое из его возможностей и умений оказалось превращенным во всякие техники. Главным, наверное, было закрепление в реальности права на место таких частностей как: «теле», «зеркало», «дублирование», «усиливающий диалог», «дополнительные Я», «группа персонажей внутри прежде целостного Я».

Морено не больно жаловал цензуру, власть и вообще социальное во всех его видах, но нашел способ взаимодействия с ними, не конфликта и извлекая массу неожиданной энергии из своей непокорности, предоставляя эту возможность также и другим.

Собственно сам конфликт был скорее побочным эффектом. Значимым было именно извлечение энергии новым способом.

Он как будто выявлял у себя то, что привыкли мягко называть психопатологией, и начинал не только не скрывать это, как было принято, а излучать и делиться этим с другими. Менять нечто во внешнем мире с помощью этой внутренней радиации, точно дозируя ее, оставлять его заряженным, измененным, наполненным новыми продуктами.

Как-никак, Морено родился в 1889 году. Во время его жизни появились и ядерная физика, и генетика, и эксперименты новой социальности. Атом больше не был неделимым. Как и личность. И отдельные правила. Старая система, казалось бы, такая удобная еще в девятнадцатом веке, была безвозвратно нарушена.

В девятнадцатом веке все делали медленно и долго. Франц Иосиф правил Австро-Венгрией почти пятьдесят лет, как и Королева Виктория в Англии, по имени которой была названа целая эпоха. Морено вряд

ли умел прожить следующий день как предыдущий; даже пересаживание со стула на стул, было, может быть, как раз тем временем, когда он, не теряя прошлого, перемещался в будущее, в иное.

В этом была для него личная свобода, важный компромисс: он оставался связан с традицией и устремлен в будущее, открыт совсем иному времени, в которое он периодически заглядывал. Он балансировал на этом острие, для чего требовалась особая гибкость, частые переходы туда и обратно, при этом ни одно из упомянутых времен не могло считать его полностью своим, как и полностью от него отказаться.

В своей личной мифологии он уже в четыре года, играя с детьми, старался быть Богом, сидел выше всех и если падал, то часть времени проводил в воздухе, в полете. Это он старался повторить потом множество раз в своей жизни: падения могли быть и большее, но и полеты дольше, и претензии очевиднее.

То, что он учился сидеть на краешке стула (стола, кафедры, или занимать соответствующее этой метафоре положение в новой для себя группе) повторялось множество раз. Потом он стал учить этому и других: не сидеть в своей надежной реальности, на своем стуле слишком плотно. Стараться летать и ловить тот миг, когда воображение еще не приводит к падению. Уметь держаться за возможное, другое — в своей жизни или в чьей-то рядом, присваивать это на секунды, успевать ориентироваться, развивать то самое «теле» и — пытаться сделать еще один шаг. Казалось, что рядом с привычной реальностью он «ставил» не только несколько воображаемых, на разных дистанциях возможного, но и реальности других и еще нечто, считавшееся достоянием реальностей высших.

Сейчас сложно мысленно воссоздать атмосферу психодрамы. Это ведь заняло у Морено несколько десятилетий. Когда он родился, его матери было пятнадцать, а отец постоянно где-то разъезжал. Через несколько лет они развелись, собственно, Морено — это имя, а не фамилия его отца. Его мать писала свой год рождения при появлении следующих детей каждый раз по-разному. Страна, на территории которой он родился, распалась, и его даже не брали ни в одну из армий, так как было не понятно кто он, собственно, такой.

Учился он сначала, кажется, на философском факультете, потом перевелся на медицинский, но занимался, скорее, театром, если вообще можно считать разрушение сложившихся традиций постоянным занятием. Трудно говорить о Морено что-либо определенное, если даже прекрасная его биография, написанная Рене Мориню с проверкой всех фактов, очень осторожна. Определенно из нее видно только, как неустойчиво почти все в жизни главного героя.

(...)

Карл Витакер

В конце восьмидесятых я познакомился с Карлом Витакером, он приезжал в Москву и показывал свои «мастерские». Мне посчастливилось пройти примерно 300 часов на разных тренингах по семейной терапии, но этот не был сертифицирующим и постоянным, как, например, по психодраме и гештальт-терапии. Витакер произвел на меня сильнейшее впечатление, и до сих пор я часто возвращаюсь к его образу и книгам.

Подзаголовок моей любимой книги: «Символический подход, основанный на личностном опыте». Кратко и подробно одновременно, что для него очень типично, как мне кажется. Меня больше всего интересует разгадывание формулы его личности и проблем, производными из которых является его практика, концепция, профессиональный и жизненный успех.

До сих пор я ярко помню одну сцену, разыгравшуюся в процессе мастерской. Симулированная семья... Весьма демонстративная и активная мама жены со своим недюжинным публичным темпераментом выступила с ремаркой — похвальбой в адрес собственной семьи. Имелось в виду, в подтексте, кроме всего прочего, что она была не чета семье дочери и ее мужа — интеллигента и хлюпика. Он, естественно, тоже присутствовал.

Формулировка была такова, что ее семью все вокруг называли «ленинской». По понятным причинам это вызвало иронические реакции зала, и кто-то спросил мастера, встречаются ли ему такие семьи в Америке. Вопрос был для него понятен и не сложен, он ответил с присутствием ему задорным лаконизмом: «Как минимум, две в день».

То, что ленинские семьи и представляющие их женщины в возрасте (с нарастаченной по «житейским пустякам» энергией) во множестве водятся в Америке — не такая уж невидаль. Для Витакера жизненной находкой было то, что энергия принципиально находится в семье, как и целостность, индивид же является, скорее, осколком этого целого. Будучи оторван от семейного потока энергии, индивид теряет и теряется сам, даже если ему кажется, что количество его личных житейских игрушек и социальных наград значительно превышает то, что принадлежит ему как члену семьи.

Если на минуту погрузиться в фантазии по поводу самого Карла Витакера, я бы сказал, что он дотошно исследует мотивы одиночества, «отодвинутости» и потерянности. В его метафорах часты образы внутренней эмиграции и разнообразных измен. Муж, согласно его интервенциям, может изменять жене с коровами своей фермы, о которых он

заботится, не жалея на это времени, или со своей любовью к деньгам. А она ему — с детьми и своими посторонними мыслями.

Витакер, кажется, был мучительно одинок в детстве и в период поиска своего пути. Он открыто сомневался в собственной нормальности. Нарочитая провокативность и странность его метода, прошедшая горнило длящихся не одно десятилетие отвержений в сравнительно терпимой и благополучной Америке, привели его к действительно собственному пути.

Во многом он оказался параллелен и подтвержден другими семейными терапевтами, но совершенно точно, что он и сам не всегда был уверен, что выпутается из своих «джунглей». Для характеристики людей шизоидных одна из мягких формул состоит в том, что им присуще противоречие хрупкости, чувствительности, тонкости с отстраненностью, невключенностью, негибкостью, распадом резонанса с другими.

Противоречия подобного рода кажутся мне пружинами, понимание которых особенно интересно. Запутавшийся маленький мальчик, а одновременно совершенный старичок, мудрствующий, блуждающий в своих рассуждениях, а потом отбрасывающий их; всегда отгороженный и находящийся далеко. Недифференцированность разных возрастов, «слепенность» реакций в единый нелепый по форме ком, неповоротливость. Человек, который одновременно младше и старше себя самого. Отделён не только от других, но и от себя; того, каким хотел и мог бы быть. Досадная нелепость положения и сожаление по упущенному, отделенность от времени настоящего — «здесь и сейчас» — как формы бытия.

Реакции невопад, зачастую заимствованные, отчасти отвергаемые как не свои и от того еще более нелепые. Неуклюжесть во всем. Отчаяние от себя и отделение от внешнего мира, и одновременное наказание за неправильное поведение и, особенно — за отделение от мира людей, в котором очень хочется быть.

Человек другой, чужой, чудной, находящийся в состоянии маятника от ощущения, что он хуже и лучше других; хочет с ними играть и не знает, как. Мечта об общей песочнице, «птичьем дворе», по Андерсену, сменяется мечтой о компенсации одиночества, вспышками надежды на включенность и всемогущество.

Вдруг происходит прыгивание в центр событий: внезапно наступившее озарение и понимание, выход на правильную тропу, словно включается свет, который все меняет, как будто звучат тайные звуки, путеводная нота которых приводит, куда надо. Дело здесь не столько в последовательности и настойчивости, сколько в непрестанной попыт-

ке прислушивания к чему-то иному и приглядывания к происходящему с попыткой увидеть в нем не то, что все.

Это — путь «гадкого утенка». Принципиальная отделённость от общих мнений, слов, поступков и путей. Но есть возможность стать «лебедем» при соблюдении определенных условий, которые, впрочем, неизвестны, как и точные правила следования им. Это можно лишь нащупать. Отсюда роль интуиции, целостности, энергии как потока, индивидуальности пути.

Таков Карл Витакер. Тихий, почти немой певец индивидуализма, отнюдь не в нищезанском смысле, Витакер хотел выйти из всех своих тупиков, и вывести за собой заблудившиеся семьи и индивидуумов. Он долго работал с шизофрениками. Стоит напомнить, что когда он начал в большой психиатрии (как и Эриксон), никаких нейролептиков еще не существовало. Дело это было грязное, бесперспективное — «отстойное», как сказали бы сейчас.

Витакер поил шизофреников из бутылочки и только что не прижимал их к груди. Он всегда искал способы контакта, близости, отнюдь не воспитательного или разговорного характера. Это были отчаянные действия, безусловно, мотивированные, имевшие определенные успехи, опирающиеся на реальность.

Далеко — близко; испуганный — спокойный; включенный в резонанс и целостность с другими — потерянный; имеющий силы выносить абсурд жизни и смеяться над ним — чрезмерно занятый холодной интеллектуальностью; на ощупь ищущий живого контакта — умозрительно отстраненный, живущий в своей коммунально-абстрактной матрице. Вот некоторые из оппозиций, которые хочется ему приписать.

Ясность и лаконичность высказываний, прямоту наблюдаемых интервенций, неожиданность и самобытность проявлений, линейные и точные выпады — все это он специально выработал и противопоставил «прежним ужасам»: запутанности, усложненности, невнятности, мучительности выбора, внешней непроявленности при внутреннем преувеличенном хаосе.

Инаковостью несложно, как особым пугалом на поле жизни, отпугивать других. На таком «монстре» могут быть одеты совершенно различные вещи, заведомо не совпадающие друг с другом по стилю и изначальному назначению.

Рассматривая, читая, фантазируя о Карле Витакере, мы как раз получаем хороший пример преображения — преодоления одного из полюсов и вырастающих из этого на другом полюсе возможностей. Особый интерес для нас представляет то, что в юности с переходом к тому,

«как все», не произошло отказа от себя, «странного и недоделанного». Напротив, первый полюс всегда оставался напряженным, как пружина, и целая жизнь понадобилась, чтобы творчески освоить ужас.

Когда Витакер поил шизофреников из бутылочки и часами разговаривал с ними, он поил и самого себя, может быть, пытаясь дойти до конца, до глубин своего одиночества и страхов, перекинуть мост между столь далеко отброшенными друг от друга мирами.

Может быть, Витакер пытался понять, о чем мечтает шизофреник, который, с точки зрения нормального общества, являлся «отбросом», от которого следует отвернуться, по крайней мере, до тех пор, пока рационально не станет ясно, что же с ним делать. Его жизнь во многом оказалась походом за чувствами, естественностью, своей энергией. Главной же для него была предпосылка, что это гораздо ценнее предлагаемой обществом «информации оптом и в розницу».

Витакер хотел открыть для себя чувства, объединяющие с другими, переживания связи с миром, включая абсурдность, боль разъединенности и одиночества. Чувства, которые можно принять, с которыми можно выстоять, а после — победоносно вернуться в маленький мир удобных, управляемых чувств, «как у всех».

Наверное, в мифе так поступил Прометей, впервые принесший огонь, украденный у самих богов. Не исключено, что и он обжигался по дороге. Витакер предлагает и другим пройти примерно этот путь. Путь поиска, в надежде на собственную витальность.

При этом он довольно тщательно охранял от посторонних свой семейный мир. Во всяком случае, я гораздо чаще встречал его воспоминания о коровах, ферме, шляпке, чем о его шести детях и жене Мюриель. Витакер предпочитает для себя и других движение, помня об опасности обжечься при неосторожном обращении с огнем. «Внутренний вулкан» — его принятая в жизни данность.

Для Морено, как мне кажется, пружинами и оппозициями были совсем другие мотивы. В гиперманиакальном состоянии: неожиданно большой, вдруг выросший, со жгучим желанием воплотиться, дотянуться, оплодотворить любое начинание, дать толчок, вдохнуть жизнь. Все остальные двигаются слишком медленно, с большими паузами, и в этом состоянии их легко «перепрыгнуть».

Желанное делается возможным, фантазии легко переходят в эскиз — проект осуществления, общий план, руководство к действию. Большой, близкий, быстрый, неутомимый, легко входящий внутрь и толкающий извне — все это с облегченностью переходов, перемещений, пересечений границ.

Сами границы даже не выглядят нарушаемыми, все принадлежит себе, так как расширение кажется присущим им изначально. Кажется, что будущее подвластно, настоящее легко трансформируемо, а прошлым можно отчасти пренебречь, а отчасти слегка его уменьшить. Горизонт словно бежит навстречу, по мере нарастания своей собственной активности — встречная активность также нарастает.

Напротив, в состоянии подавленности, депрессии, при резком качке маятника назад, мир выглядит излишне большим, собственное Я уменьшенным, более ранимым; преграды увеличиваются, трещины между собой и окружающим растут. Все представляется чрезмерным, так что хочется уменьшиться, найти убежище, вжаться в собственное тело, свернуться. Тревога в таком состоянии заранее приписывает неуспешность любому начинанию; отрицательное прогнозирование и негативное предвосхищение делают свои шаги.

К такому типу, с характеристиками «большой — маленький», «огражденный своими границами — нарушающий любые границы», несомненно, относился Морено. Для него переход от «Я отвечаю за все» к «меня тут не было» происходил легко, как в детской игре. Желание нигде не ставить свое имя и борьба за всеобщность продуктов интеллектуального творчества сменялась попыткой на все ставить клеймо своего авторства. Противоречия как таковые особенно видны в этом типе личности, так как размах маятника и размер его колебаний между крайними точками особенно наглядны.

(...)

Минухин и Кернберг

Однажды я наблюдал, как, за несколько минут до общей панели на двоих, Сальвадор Минухин и Отто Кернберг общались уже перед собиравшимися участниками. Они поздоровались за руку, температура пожатия была ровной, без тени тепла или холода, нейтрально доброжелательной. Никто не сдвинулся ни на шаг, казалось, даже улыбка была отмерена раз и навсегда. Потом они сели, и каждый достал свою газету. Не думаю, что в этом было что-то нарочитое, они и впрямь нуждались в новостях, в подчеркнуто нейтральном состоянии для себя, в медитации над листом или в отвлечении от партнера.

Они так давно делали свою работу, что полемизировать каждому было проще с «марсианином», чем с присланным для полемики, представителем иного направления. Они, безусловно, принимали ритуал, уважение к символической сфере, к которой принадлежали, и признавали необходимость отдавать дань публичности.

Наверное, каждый мог примерно предсказать, что скажет другой. Однако газета в руках была интереснее. Но процедура, конечно, не предполагавшая корриду, выводила их не столько друг против друга, сколько против (а значит — для) публики, разнообразной в своей подготовленности и заинтересованности.

От них ожидалось высказывание своих наработанных и обточенных, как камушки морем, метафор, принципов и историй. Чем-то они напоминали ожившие экспонаты музея, причем, не без иронии воспринимавшие происходящее. Они отвечали на вопросы с удовольствием, не стараясь уходить от ответов. Большинство вопросов они слышали уже множество раз, но бойцовские качества полемистов иногда пробуждались в какой-то мизансцене. Это и была ожидаемая «специя», тот особый фирменный звук, на который и приходили почитатели.

Объем накопленных каждым знаний и опыта был огромен, мне кажется, что они уже не могли остановиться, перестать говорить и писать. Когда они начинали свою профессиональную деятельность, жанра «путешествий с мастерскими» еще не было в культуре. Правда, тот же Милтон Эриксон разъезжал с лекциями по гипнозу, на которых показывал практику и жизнь. Но это было так давно, что почти забылось, если бы не конференции, созданные под защитой и ореолом его имени.

Впрочем, и Минухин и Кернберг явно помнили образцы своего доисторического прошлого. В начале семидесятых стали собирать группы человек по пятнадцать, тогда это было открытием и прорывом. Оказалось, что психотерапевты нужны. Психотерапия выделила из себя публичный жанр. Некоторые, впрочем, ворчали, что некогда стало работать, но не исключено, что им как раз не очень-то этого и хотелось.

Несколько позже нечто аналогичное можно было наблюдать и у нас, когда внезапно, как массовое явление, возникла тренерская профессия. Предполагалось поточное производство авторитетных фигур, несущих знание и перемещающихся в нем сравнительно легко. Это были уже не «коробейники» и даже не «коммивояжеры» знаний. У тех покупали еще и по причине скуки, привезенное было не обязательно остро необходимо, — но ведь игрушки всегда пользуются спросом. И в России и ранее на Западе, приходили учиться еще и потому, что это был билет в лучшее будущее.

Для каждого это было чем-то своим: повышением собственной цены, веса знаний, нужного другим «серьёза», просто проветриванием мозгов. Публичность добавляла воздуха, заставляла увидеть мелочи,

стирала пыль с ежедневной рутины. Человек становился на ступеньку выше. Это было основное в новом жанре: работать. Но не как обычно.

В нашей стране в это время сменилась парадигма правильной работы. Если слегка утрировать, то раньше в качестве эталона выступала длительность пребывания на одном служебном месте, верность неизвещенно чему, а лучше всему, чему только можно. Пришел на «службу», через десять лет повис на доске почета, потом привел детей, с почетом ушел на пенсию и умер с сожалением тех, кто еще помнил.

Потом к нам пришли другие ценности. Среди них и обучение. И Минухин, и Кернберг успели обветриться и пройти разные стадии публичности, закалиться известностью и наградой в виде заслуженного успеха за правильно выбранный путь.

На своей сольной панели, где Кернберг демонстрировал супервизию, он отвечал на вопросы из зала на четырех языках, которыми владел в совершенстве. Еврейская семья успела переехать из России в Германию, а оттуда в Латинскую Америку. Следовательно, он знал немецкий и испанский. Французский просто свидетельствовал о том, что во времена его школьного детства мальчишки, которых не учили музыке, учили этот мелодичный язык.

Если бы Россия традиционно не спешила выплескивать своих эмигрантов, как не нужные «излишки», то мировая психотерапия очень бы от этого потеряла. Английский у президента психоаналитической ассоциации тоже был на уровне.

Существует расхожее мнение о непреложной длительности психоанализа и том, что в коротком предъявлении случая не так уж есть, что показать. Увиденная мною тогда работа Кернберга, была блестящей. Собственно, то, что в супервизии речь идет о самом профессионале не в меньшей мере, чем о предъявляемом опыте, хорошо известно, о какой бы традиции в психотерапии не шла речь.

Дж.Хейли в одной из своих книг вспоминает, как при первой встрече с Милтоном Эриксоном, тот спросил его, чего он хочет. Ответ был про желание обсудить случаи, в ответ на что, по словам Хейли, Эриксон дал ему понять, что работать будет лично с ним, а не только отвечать на кейс «объективно». И так было всегда в дальнейшем, отмечает Джей Хейли, как бы, между прочим.

Виденный мною разбор Кернберга был сделан с вызвавшимся для этого терапевтом, который, казалось бы, хорошо знал свой случай и понимал, чего он хочет добиться. Ничто не предвещало в пух и прах разлетевшихся изначальных представлений. И дело было не в том, что весьма к месту и совершенно неожиданно всплыл и папа терапевта, и

его едва ощущаемые чувства, словно невесть откуда взявшиеся, и разросшиеся на глазах из редких облачков на горизонте до вполне сфокусированных, внятных субстанций и фигур.

Как будто перед глазами появилось увеличительное стекло, нечто в нем заиграло, стало расти в размерах и смещаться, и вдруг возникли сопоставления в маленьких зеркалах. В ответ на обращенный на них взгляд, они ответили изменениями, что-то вытягивалось и удлинялось, как будто искало новую форму выражения. Прошлые детали в неожиданных комбинациях вступали между собой в новую связь и обязательно замыкались с чем-то, что актуально в настоящем.

Это было похоже на то, как если бы в воздухе на разной высоте образовались облака, где-то рассасываясь, куда-то постоянно перемещаясь. Вопросы Кернберга были очень лаконичны, хирургически точны, отвечали некоей невидимой «анатомии случая», с присущей ей законами. Чувства супервизируемого становились четче, метафора состояния была узнаваемой и яркой, отражала происходившее раньше и становящееся сейчас понятным.

Перед нами возникали мостики между временами и событиями. Шел живой ток, время было не просто сгущенным, а представлялось своеобразной радугой, освещавшей прошедшее в новом свете. При этом наглядность и сменяемость картин имела свой особый ритм. Одним из впечатлений было, сколько же всего находится внутри, в таком, казалось бы, небольшом, ограниченном границами объеме.

Это был «танец» не в меньшей мере, чем операция опытного хирурга по удалению аппендицита. В треугольнике – предъявленный клиент-супервизор-терапевт – как будто летали шаровые молнии, шли импульсы, и это имело отношение ко всем трем, это была общая игра, где никто не становился лишним.

Я помню, как вдогонку к данному случаю Кернберг рассказывал об общении с одной пациенткой, с весьма нарушенной психикой, которая, находясь в состоянии выраженного переноса, требовала права звонить ему в любое время, если ее потребность суицида станет невыносимой. «Моя секретарь, видимо, сочла меня последним извергом», – заметил он, имея в виду свои предписания для нее по этому случаю. Секретарь должна была заявить пациентке, что она может позвонить в неположное время, но это будет ее единственный и последний звонок, после которого ее терапевт будет вынужден прекратить с ней работу. Что-то дальше было про отвергающую в детстве мать. Маэстро и был в то время этой самой матерью, его намерение удержать пациентку в рамках, в реальности, которая диктовала свои законы, не отменяя силь-

нейших чувств и следования субъективному миру, было направлено на «битву за структуру», распутывание разных времен в голове у страдающей женщины.

Указание на возможные ассоциации секретаря служили «маркером» различных горизонтов восприятия, делавших их равноправными. Казалось бы, на кону стояла жизнь, страсти были неподдельны и почти непереносимы. Но никакой жалости, пусть и через секретаршу, поскольку важнее было другое.

На конференции было особенно ощутимо, как достигается плотность события, сгущение времени, что диктует мастеру жизнь и как в ответ он обжигает глину своих новых реакций. При всей публичности действия и требования к его наглядности, часто это было совсем тихое и незаметное обжигание, пафос здесь был не в ходу. Но детали процесса, тут же запускаемого, становились тем виднее.

После одной из панелей я подошел к Кернбергу с вопросом, какие свои книги он хотел бы видеть изданными в России. Он назвал три, которые позже и были здесь изданы. Кернберг производил впечатление человека, замкнутого, но состоящего при событиях, которые давно начались и не скоро закончатся. Он имел вид решительного хирурга: если не примет скорого решения и не направит скальпель, «как надо», то на кону может быть чья-то жизнь. Каждый его ответ и жест был уравновешен и естественен, ни перфекционизма, ни колебаний. Это значило для него, что действовать надо сейчас, не теряя никакой возможности, но результата следует ждать когда-то в дальнейшем. Может быть, так действует садовод от Бога. Подрезая одно, подпирая другое, удобряя третье и обходя время от времени все вместе. Но каждый раз, сосредоточенно и быстро, делая что-то одно. И постоянно помня, что в целом саду мироздания еще очень много работы, а результаты труда, живые и разные, появятся сами, когда все нужное уже сделано.

Казалось, что Сальвадор Минухин куда больше интересовался драматургией, точностью диалога и действия. Как известно, он, будучи уже автором нескольких пьес, приложил немало усилий, чтобы уйти в эту профессию как основную. Однако, видно, в какой-то момент он посчитал, что время для этого упущено, пришлось возвращаться в «малую драматургию» обучающих семинаров, выступлений и книг, где диалоги были скрытым искусством. Как и Кернберг, Минухин пережил в молодости эмиграцию, и также был из Аргентины.

Оба они, сидевшие на одной панели для диалога, казалось бы, имели немало общего в прошлом. Однако общаться в выдавшиеся свободные минуты предпочли каждый со своей газетой. Минухин начинал

карьеру после второй мировой войны. Он приехал в Америку, попал под крыло Натана Аккермана, одним из первых открывшего собственный институт и занявшегося семейной терапией. Однако его энергия провинциала, тревоги «птицы с подбитым крылом», как он называл себя, стала искать новое русло. На несколько лет он уехал в Израиль. Там было много работы – прибывали дети, потерявшие во время войны родителей и чудом сами сохранившие жизнь. Это было примерно то же, что опыт фронтового госпиталя для хирурга. Минухина интересовала не столько, требуемая от него, психиатрическая диагностика, сколько интерес и внимание к хлынувшему разнообразию и мучительному самоопределению подопечных. Работать с ними в психотерапии было почти некогда, да и методов еще не было, но очень сильным было желание и возможность разговаривать и что-то делать, чтобы помочь

Скорее всего, в те годы он еще не выбрал степени свободы от «мейнстрима», к счастью, тот тоже несколько потерялся и не был жестко очерчен. Потом он вернулся в Америку изучать психоанализ, затем его опять отнесло на «обочину», чтобы заняться детьми и семьями. Он был врачом, этот статус рос в те годы очень быстро и позволил ему неожиданно стать парламентаром и организатором проектов, скорее, социального свойства, нежели психотерапевтического.

В его стиле виделась ярко выраженная смесь директивности и готовности брать на себя ответственность в сочетании с собственной ранимостью и способности к индикации ее у других. Может быть, он по-прежнему чувствовал себя на поле боя, где все должно было происходить быстро: в «полевой госпиталь» пребывали все новые и новые «раненые». Тем не менее, для него была важна абсурдная сторона жизни, лечиться от которой можно было с помощью точно подобранных слов и образов, переводя все в совместно написанную с клиентами пьесу.

Минухин не был филологом по призванию, а, скорее, в силу непоседливости (как сказали бы у нас, психопатичности), готовности с легкостью нарушать, казалось бы, на век выстроенные границы. Он искал новые положения и коллизии между действующими лицами. Судя по описанию «кейсов», он легко перемещался в пространстве, не замыкаясь в целостном мире кабинета. Поход с клиентом в ванную, выход за дверь, просьба принести еду немедленно; он и свою непоседливость делал инструментом. Не ограничивая себя, он разрешал и членам семьи, с которой работал, новые мгновенные активности в качестве решения тех вопросов, которые они принесли с собой. Он был, словно всадник, который управляет норовистой лошадью, не стремясь подчи-

нить ее и добиться послушания, а, скорее, двигаясь к своим потенциальным способностям и готовности скакать дальше вместо того, чтобы упрямиться, топчась на месте.

Драматургия положений вовсе не была его навязчивой идеей, но замыкаться в пределах одного сценария, пусть и тщательно выверенного, он тоже явно не желал. На той же конференции я видел работу одного из создателей миланской школы семейной терапии — Джулианы Пратта, как ранее был на нескольких днях мастерской Джафранко Чеккина. Там, при всех различиях между ними была строгая схема, как будто вырезанная резцом по камню. Циркулярные вопросы, с обращением к каждому из членов семьи по очереди, четкость предписаний, доведение до абсурда в качестве обязательного элемента техники интервью (когда необходимо точно состричь в подходящем для этого месте), заранее известная частота встреч, работа в команде, с известными ролями. Все это напоминало игру команды или действия клиники, развернутой на футбольном поле. Здесь много было от игры во всемогущество, в авторитет, в порядок, который, конечно же, реально существует и может быть установлен. Мячик абсурда мог перемещаться от семьи к терапевтам, но правила игры были совершенно четко установлены. Наверное, это отвечало европейской озабоченности сохранения границ, стремлению избежать несанкционированного влияния. Несложно заметить, что это направление возникло после хаоса войны, с ее нарушением всякого рода границ. Все эти моменты — власть и границы, произвол и порядок — совсем в иных соотношениях представлялись у Минухина.

Он брал много ответственности на себя, был при этом произволен, предвзят и, верно будет сказать, что капризен. Поводы и оправдания могли быть разные. По поводу Минухина было довольно много споров, и легко было на конференции понять, почему. Да, он работал с бедными семьями, где матери получали пособие на детей, а отцы не работали вовсе. Это служило оправданием необходимости усиливать авторитет и власть последних в семье. Какими бы средствами Минухин не пользовался для достижения своей цели, это всегда казалось мужским подходом.

(...)